

Часть первая

ЧЕРТОВА СЕРЖАНТКА

Глава I

НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Лес был спокоен и угрюм — был таков именно, каким он бывает нередко в конце сентября, когда трава совсем уже поблекла, лист пожелтел и осыпался, оставив только кое-где мотающиеся на серых прутьях листики. Небо хмурилось и, казалось, всякую минуту готово было разразиться теми бесконечными, назойливыми слезами, которые так свойственны северной осени.

Подобная угрюмость леса как нельзя более соответствовала и тем печальным, унылым речам, которые слышались под его оголенными вершинами.

Речь вели два человека — молодая девушка и молодой парень.

— Милый ты мой, милый! Дорогой мой! Ведь уезжаешь ты... — печаловалась девушка почти сквозь слезы, стоя прямо перед парнем со сложенными на груди руками и глядя на него в упор.

Парень прислонился спиной к осиновому стволу и как будто злился:

— Уж что тут!.. — говорил он. — Ехать надо... и поедем... А слезами да ахами тут не поможешь...

Девушка помолчала.

— Сама знаю, что не поможешь... Какая уж тут мощь — слезы! — сказала она несколько спокойнее и отирая кулаком наворачнувшиеся на глазах слезинки. — А все же уж очень мне не по себе и нудно, как вспомню, что вот и осень, и зиму, а там и весной до Николы придется прожить без тебя, Сидорка. Право же!

— Эх я для тебя малина с калиной, что уж без меня и прожить нельзя! — напустил на себя притворное удальство парень и хлопнул девушку по плечу. — Не грусти, Галя! Все будет складно да ладно — дай срок! Эх беда какая — уеду! Ну уеду — и приеду. Не век же я в Москве жить буду, не век же я там с Салтычихиными прихвостнями валандаться буду. К лету опять сюда, в Троицкое. И уж тогда во как заживем, Галя! Отдай да мало! А она нюни распускать! Брось ты все это!

Девушка, по-видимому, успокоилась, но голос ее все еще дрожал, когда она начала возражать:

— Брось ты все это! Хорошо тебе говорить, парню, такие слова. Тебе что — надел шапку набекрень и пошел себе на все на четыре стороны. Куда, мол, хочу, туда и вору — всюду простор, что ветру вольному. А нашей сестре, девчонке, совсем не таково.

— А каково же?

— А таково же! Ты себе пошел, людей увидал, ну все и позабыл! С тебя как с гуся вода. Поди, и красавиц на Москве увидишь немало. А увидишь — дело известное, тебе не говорить стать, что из того будет-произойдет. А нашей сестре слезы, да горе, да ночи бессонные. Ты завсегда меня на другую променять можешь.

— Вот уж это ты врешь, Галинка! — совершенно искренне возразил парень. — Никогда я ни на кого тебя не променяю! Ей-богу же не променяю!

Девушка печально усмехнулась:



Дарья Салтыкова.

Дарья Николаевна Салтыкова («Салтычиха», «людоедка»; 1770–1801 гг.) – русская помещица, вошедшая в историю как изощренная садистка, убившая больше сотни подвластных ей крепостных крестьян

— Божись больше — проживем дольше! Ваша речь, мужская, известна: пока до дела, так язык-то весь в мочалу истреплете. Вам он не дорог.

— А и диво же мне, Галинка: откуда ты, в лесу живучи, понабралась столько разуму! — начал шутить парень.

— Соколу лес не диво, Сидорка. Аль только у вас на барском дворе и ума понабраться можно?

— Ну, у нас этого мало, ума-то не понаберешься. А вот насчет битья, да колотья, да кнутья — так этого у нас достаточно, вволю! — проговорил парень и вдруг, как будто что-то вспомнив, как-то тревожно оглянулся.

— Боязно и здесь, в лесу-то, парень? — спросила девушка, оглянувшись в свою очередь и сама.

— Вестимо: пуганая ворона и куста боится. А Салтычихин глаз, кажись, все и из-под земли видит. Ты вот, моли Бога-то, Галинка, что при барском дворе не живешь. Жила бы — ой-ой что увидала бы! Не проходит, девка, того дня, чтобы кому-нибудь здорово не досталось. Нашему-то брату, мужчине, и так и сяк. А уж бабам — беда просто! Бьет чем ни попадя: и скалкой, и вальком, и плетью. Онамедни девку Агашку, прачку, в сажалку по горло в воду загнала. «Полощись,— говорит,— стерва, сама, коли полоскать белья не умеешь!» Та еле жива потом из воды вылезла: теперь лежит, не встает, да, поди, и совсем не встанет. Такая бедняга!

— Ишь у вас порядки какие завелись!

— У нас порядки этикие издавна ведутся. Аль не знаешь, неведомо тебе это?

— Не все, парень, ведомо.

Сидорка оглянулся и понизил, говоря далее, голос:

— Не обо всем и говорить-то можно. Ино и помолчать надо.

— Уж не потому ли вас там, на барском дворе, и дубасит Салтычиха, что вы все много помалкиваете?

— Смела больно! На вострый сук и вострый топор. Ты поди да поговори с ней, тогда и посмеивайся.

— Смеяться нечего, а, чай, на всяко дело свой суд есть. Питер не за горами — можно и до Питера дойти, до царицы.

— Поколь шагать, девка, будешь — всю спину изотрешь. А спина-то своя, не чужая, нет-нет — и пожалеешь!

— Иструсился, вижу я, и ты, Сидорка, живучи на барском-то дворе, — заметила девушка со своего рода милой презрительностью.

— Плетью обуха не перешибешь, говорят добрые люди... А все же, Галинка, по ком плеть ходила, тому она долго памятна будет. А у меня к тому же и память хорошая. Все помню, коли спина чешется.

— Ужели же, Сидорка, и тебе доставалось? — спросила вдруг Галина голосом любящей девушки, глядя участливо на своего милого.

Сидорка тряхнул кудрями:

— Дело бывалое! Салтычиха никому спуску не дает. Доставалось и мне, сказать правду.

— Доставалось? — переспросила девушка.

— Доставалось!

— Ах, милый ты мой, милый! — проговорила с нежностью девушка, положив правую руку на плечо Сидорки. — Так и тебя терзала-мучила эта волчиха ненасытная?

— Уж как мучила-то — по смерть жизни не позабуду! Здорово встрепку задала! Лихо!

— За что ж это, скажи-ка?

— За баловство. Побаловал не враз.

— Ну?

— Правду сказать: маленько бы и стоило, да уж не так. А то ведь цельный месяц спины разогнуть не мог: и сесть нельзя, и лежать неспособно. Так стоя и спал.

— Бедный Сидорка!

— Вот истинный Бог!

— За что же?

— Говорю: за баловство. У ейной любимой собачки — околела уж, такая паршивая была — я, вишь ты, шерсть маленечко поощипал. Привязал ее к плетню — и ну щипать. Собачонка визжит, ребята хохочут. Чудно таково! Ну и вышло...

Девушка медленно сняла руку с плеча парня.

— А ведь это нехорошо, Сидорка,— кротко упрекнула она парня,— щипать ни за что, ни про что собачонку. За что ты ее щипал? Кусала она, что ли?

— Нет, да уж больно паршивая была.

— Нехорошо,— повторила еще раз девушка.

— За то и отбарабанили.

Девушка молча поглядела сперва на парня, потом куда-то в пространство, а потом, подумав, заметила:

— Какие вы все там злые!

— Будешь зол! — вдруг как бы обиделся Сидорка.— Будешь зол, когда с утра до вечера только одно и видишь, что битье да битье. Так-то немудрено и зверем стать. Вон Акимка... Какой паренек был — любо-дорого! От вас, из сторожки, пришел — на парня налюбоваться не могли, а теперь таким волчонком стал, что хоть бы опять в лес, да не к вам, к деду Никанору, а в волчью сурчину. Палач палачом.

— Правда? — удивилась девушка.

— Врать не стану. Сама, поди, узнаешь. Как поступил в кучера, так всех, как лошадей, и хлестать зачал. Вестимо, воля не своя... А все же...

Сидорка махнул рукой: не стоит, мол, об этом и говорить — понятно.

— А ведь я с ним росла, с Акимом-то,— начала рассказывать девушка.— С ним играла, по лесу бегала, земля-

нику собирала, малину, орехи, грибы. Заберемся, бывало, в чащу, аукаемся, смеемся. Шустрый был мальчик и добрый, да только глаз у него был какой-то чудной. Станет, бывало, супротив меня — и глядит, не трогается, словно его вкопал кто в землю. «Чего,— говорю,— Аким, глядишь?» — «А ничего,— говорит,— Галинка, глядеть хочется». И уставится в землю. Не любила я у него этих глаз. Что, и теперь они у него такие? Я его давно не видала, Акима-то!

— Ну, какие у него там глаза — не разглядел, а что насчет морды — очень уж разбойничья морда. Морда самая недобродетельная.

— Как же так изменился человек? И никто не знает, отчего он изменился? — недоумевала девушка. — А паренек был добрый. Я плакала, когда его увозили от нас, из сторожки. Батюшка тоже немало печаловался о нем. «Вот,— помощника от меня и отняли! На что мне,— говорил,— девка? (Это про меня.) С парнем все веселей! Хотя он мне и не сын, приемыш, а все веселей». И точно — без него попервоначалу скучненько было. Потом ничего, пообошлись, живем кое-как с бабушкой и по сей день. Только ты вот у меня и смутник один есть, Сидорка.

— Чево мне тебя мутить-то, Галина! Мутить мне тебя не с руки, да и не таковской я парень, чтобы мне зазнобует девочку мутить! — проговорил Сидорка несколько раздражительно, махнув рукой, а потом с унынием прибавил: — В омут бы головой мне теперь! Право слово, Галя, в омут!

Галя вдруг встрепенулась, как будто ее что-то ужалило.

— Ты что это? О чем? — заговорила она бегло, и в голове ее зазвучала нежная и в то же время решительная нотка. — С чего ты это, парень, взял — в омут головой? Аль нам жизнь надоела? Аль уж мы не люди и повеселиться вовремя не сумеем? Эх, парень, махни на все рукой!

Галина хлопнула Сидорку по плечу, потрянула головой. В этих ее движениях проглянуло сразу что-то цыганское, дикое. Она сразу как будто вся изменилась, стала иною. Прежней, несколько плаксивой, как казалось, девушки будто не бывало. Лицо ее запылало, глаза вспыхнули, все тело вздрогнуло.

Приунывший было Сидорка под влиянием ее оживления оживился и сам.

— Цыганочка ты у меня, Галя! — воскликнул он, улыбаясь во все лицо удало и сладко, как человек, вполне сознающий в данное время свою силу.— Право, цыганочка!

— Цыганочка и есть! — согласилась Галина.— Чай, сам знаешь, кто я такая.

— Как не знать! Все знают, что мать твоя цыганка была. Вишь, глазищи-то у тебя какие! Э, черт этакой! — вдруг вскрикнул задорно парень и смело обхватил Галину одной рукой за стан.

Девушка не сопротивлялась, стояла на одном месте, но мгновенно повернула голову в сторону.

— Тише ты! Постой! — сказала она тревожно, к чему-то прислушиваясь.

— Чево там еще? Аль зазналась?... Впервой, что ли?..

Сидорка бестолково захохотал.

— Тише ты, дурень! Говорю, тише! — остановила его Галина.

И вдруг она что было силы толкнула парня в сторону, прошептав:

— Беги, черт этакий! Барыня едет! Эк как нас на дорогу вынесло!.. Нашли место!...

Сидорка испуганно, ничего не соображая, шарахнул в лесную поросль.

Но было уже поздно.

В нескольких саженях от того места, где вели прощальную беседу влюбленные, показалась маленькая тележка в

одну сытую лошадку, с кучером. В тележке сидела женщина лет за тридцать, плотного сложения, довольно еще красивая для своих лет. Она, как выслеживающая свою добычу орлица, держала голову несколько вполупоборот в ту сторону, где стояла Галина, и, сжав толстые губы, прямо и холодно глядела на девушку. Тележка бесшумно, но быстро приближалась к Галине.

— Стой! — грозно крикнула барыня хриплым голосом, когда тележка поравнялась с девушкой.

Тележка так же бесшумно, как ехала, стала.

— Чья шлюха?.. Никанорова?.. — начала барыня, не спуская глаз с девушки.

— Так точно-с, Никанорова буду, — отвечала девушка тихо, но смело.

— Вишь, выросла как, дубина какая! В запрошлом году щенок щенком была. Годов сколько?

— Семнадцать.

— И, поди, семнадцать таких же вот молодцов, кой сейчас шмыгнул в кусты?

Девушка молчала, опустив глаза, и мяла правой рукой кусок какой-то тряпицы, изображавшей передник. Сердце ее билось. Она чуяла грозу.

Встреча с барыней, с Салтычихой, как ее прозвали крепостные, и при более благоприятных условиях никогда не предвещала ничего хорошего. Все по возможности избегали с нею встречи и нередко просто прятались при ее появлении. Салтычиха знала это и всегда принимала меры, чтобы заставить всех и всякого врасплох. Она ездила тихо, ходила еще тише, переодевалась в разные одежды и в итоге достигала того, что являлась всюду, по пословице, как снег на голову.

На этот раз Салтычиха была еще к тому же почему-то не в духе. Беда над головой девушки висела неминуемая.

— Что же молчишь-то? — крикнула Салтычиха. — Аль язык отнялся? Отвечай! С милым, поди, голубкой вор-

ковала, ласточкой щебетала, говорила не наговорилась, да еще разок-другой сюда прибежать обещалась! Кто он, прохвост-то твой? Говори! Сама не разглядела, так, думаю, девочка, по доброте своей все мне о нем расскажет! Любопытна уж я очень, все знать-ведать хочу, красавица! Ну, кто?

— Не знаю... прохожий какой-то... дорогу спрашивал...— пробормотала Галина, вся дрожа.

Салтычиха зло разорялась:

— Ну, ты ему, красавица, дорогу и указала?

— Указала.

— То-то он так рванул в кусты! — продолжала смеяться Салтычиха.— Поди, обрадовался, что дорогу-то нашел.

Она рассмеялась еще злее, как-то тихо, с хрипотой, и привстала на тележке.

— Подь-ка сюда, ко мне, красавица... да поближе.

Галина подошла.

— Так не знаешь? — спросила с каким-то шипением в голосе Салтычиха.

— Не знаю,— упорно отвечала девушка.

— Акимка, дай-ка мне кнут! — приказала барыня.

Акимка, тот самый Акимка, о котором только что вели речь Сидорка с Галиной и который был приемышем отца Галины и другом ее детства, медлительно, даже совсем-таки нехотя подал Салтычихе свой кнут, а сам отвернулся и стал чего-то возиться над сиденьем.

Между тем кнут, взвившись тонкой змейкой, мелькнул раз-другой в воздухе. Казалось бы, после этого должен был раздаться крик, стон, мольба... Но нет — этого не было: под хмурыми, оголенными вершинами леса не раздалось ни крика, ни стоны, ни мольбы...

Девушка стояла на одном месте, стояла не шевелясь, тихо и покорно. Она даже не дрогнула ни одним членом своего тела. Стояла — и только...



Дыба и кнут. Литография «Орудия пытки». Фрагмент. 1898 г.

Битье кнутом считалось самым суровым видом телесного наказания и применялось до 1845 года. После этого осталось лишь наказание плетьюми, шпицрутенами (длинный гибкий древесный прут) и розгами

Глава II

ОСЛУШНИК

Дружная семья рослых многолетних сосен словно бы для того только и расступилась и раздвинулась, чтобы дать место сторожке полесовщика Никанора.

Сама по себе сторожка не представляла ничего привлекательного, заманчивого: это был самый обыкновенный сруб в три окна, с крылечком, без всяких украшений. Не было даже обыкновенных в русских избах коньков над крышей или какой-нибудь мазни на ставнях. Впрочем, и ставень-то в сторожке не было. Стояла себе сторожка одна-одинешенька, как сирота, и, как сирота, выглядела печально и подслеповато.

Но эту сторожку любил полесовщик Никанор, и ни за что бы не решился променять ее не только на хорошую, красивую избу в селе, но даже и на каменные палаты в Москве.

Вот он и сам вышел из сторожки. На нем суконный, смурый кафтан с кушаком, на голове шапка-зимогорка, на ногах смазные сапоги, в руках старое ружье. Идет он походкой медленной, ровной, точно прислушивается ко всему, приглядывается — это привычка к лесной жизни, привычка быть осторожным. Ему хорошо известно: в лесу жить — по волчьим выть. Никанору на вид лет за пятьдесят, но он еще бодр и здоров. Большая седая борода окаймляла его довольно еще свежее лицо и покоилась на широкой груди, на которой, как говорится, хоть рожь молоти. Вообще Никанор был из тех, о которых в народе говорят «это старого леса кочерга».

Невзирая на свою наружную суровость, Никанор был добр и незлобен чрезвычайно. Глядя на этого человека,

никто бы не поверил, что он в полном смысле слова и мухи не обидит. Он и точно никогда никого не обижал: не обижал тогда, когда был дворовым, не обижал и тогда, когда сделался полесовщиком — настоящим человеком леса, угрюмым на вид и даже с ружьем в руках. Все крестьяне сельца Троицкого любили его за это, не заглядывали с недоброй мыслью в лес, и поэтому он у него находился в образцовом порядке. Была довольна Никанором даже сама грозная Салтычиха, которая, как говорится, и на солнце видела черные пятна. Ружье с собой Никанор носил только для «прилику», для страху: он из него почти никогда не стрелял.

Вышел Никанор из своей сторожки, поглядел направо, поглядел налево — и громко, как-то странно крикнул:

— Го-о! Го-о!

«Го-о!» пронеслось по лесу эхо и где-то затерялось, застыло в отдалении.

Это был обычный у Никанора возглас, которым он призывал бродившую по лесу дочку. Обыкновенно дочка откликалась: «Ау, тятка!» — и шла домой в сторожку.

На этот раз она не откликалась.

«Эк запропастилась!» — подумал Никанор и, постояв в ожидании, не откликнется ли она, снова крикнул.

Снова откликнулось эхо. Но дочка не откликалась.

Никанор медленно пошел по дороге, вовсе не заботясь о том, что в сторожке, кроме старого кота, никого не осталось: там человеку, желающему воспользоваться чужим добром, нечего было брать. Никанор был беден и даже не скопил ничего для дочки: у отца с дочерью только то и было, что они носили на себе — роскошь уж совсем-таки необходимая. Терпкая бобылья жизнь приходилась как-то по вкусу и отцу и дочери.

На каком-то повороте дороги Никанор совершенно неожиданно встретил тележку барыни, а вместе с тем и

свою дочку, которая медленно шла за медленно двигавшимся экипажем Салтычихи.

При первом же взгляде на барыню и на свою дочку Никанор догадался, что произошло что-то неладное. Салтычиха была красна, как свекла, дочка его, Галина, наоборот, была бледна и шла за тележкой той нервно-сдержанной походкой, неровной, беспокойной, которая особенно свойственна женщинам открытого характера.

«Быть грозе»,— подумал Никанор и с низким поклоном приветствовал барыню.

Та немедленно спросила:

— Все ли у тебя в порядке, старый сын?

— В порядке, матушка-барыня, в порядке,— залепетал полесовщик.— Все в порядке по милости вашей, матушка-барыня.

— А не врешь, старая крыса?

Полесовщик растерялся. Он посмотрел сперва на барыню, потом на дочь, потом на кучера Акима, словно бы ища в них какой-либо опоры. Но все как бы окаменели в своем молчании, и он понял, что барыня хочет на чем-то его изловить, уличить его. Ему стало жутко.

— Матушка-барыня! — простонал он.— Казни, милуй, а я ни в чем не повинен!

Он низко поклонился барыне, и в то время, когда поднимал голову, глаза его невольно встретились с глазами дочери. Какой-то нехороший, перебегающий огонек заметил он в них и тут же решил, что «все это из-за дочки».

Одновременно и Салтычиха пристально, почти пронзительно глядела на растерявшегося полесовщика.

— Аль тебе невдомек, о чем речь-то? — прошипела она, все еще не отрывая глаз от полесовщика.

— Матушка, невдомек! — почти вскрикнул полесовщик, в самом деле не понимавший, чего хочет от него барыня, хотя и догадывавшийся, что во всем этом замешана дочь.

— Невдомек? Вишь, какие у меня мужики стали недогадливые! — прохрипела Салтычиха, а потом, почти успокоившись, приказала: — Повороти-ка оглобли назад, веди в свою сторожку! Авось там посмышленнее станешь.

Приостановившаяся было тележка снова тронулась вперед.

Салтычиха, по-видимому, успокоилась и даже без собственного ей всегдашнего озлобления расспрашивала Никанора по хозяйственной части, касавшейся преимущественно леса: сколько заготовлено дров на зиму, много ли было ягод и грибов и усердно ли то и другое собирали девки, нет ли медведей и тому подобное. Никанор, идя рядом с тележкой, без шапки, удовлетворительно на все отвечал, но голос его дрожал, и он чувствовал, что сердце его сжимается болью и даже как будто подкашиваются ноги: Никанор при всей своей видной, богатырской наружности не мог похвастать смелостью. Несколько раз украдкой он взглядывал на дочь, но та намеренно не замечала его взглядов и шла за тележкой с выражением на лице невольного напряжения. Все это еще более пугало Никанора.

Когда тележка остановилась у сторожки, Салтычиха с помощью Акима и Никанора медленно вылезла из нее и потребовала скамейку. Скамейка тотчас была принесена. Аким положил на скамейку подушку — и барыня села, поставив ноги тоже на подушку, которую Аким, зная свое дело, расторопно подсунул ей под ноги.

Минут пять Салтычиха сидела молча, медленно дыша и неторопливо оглядываясь вокруг. Потом она остановила взгляд на полесовщике.

— Ну, я к тебе, Никанор,— сказала она злораднo,— в гости... Аль не рад?

Никанор закланялся:

— Рад, матушка-барыня! Рад!